

РОМАН ЛИТВИНЦЕВ

**СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
ДАУРСКИХ СТЕПЕЙ**

Роман Литвинцев

Страшные сказки Даурских степей

«Автор»

2026

Литвинцев Р. В.

Страшные сказки Даурских степей / Р. В. Литвинцев — «Автор»,
2026

Перед вами цикл, атмосферных историй, где древние силы и народные поверья Забайкалья сталкиваются с рациональным взглядом человека — и реальность начинает трещать по швам. В основе сюжетов — подлинные фольклорные мотивы и этнографические записи, переосмысленные в духе прозы. Здесь нет простого добра и зла, а есть равнодушные, внечеловеческие законы, требующие своей платы. В рассказах оживают суровые ландшафты юго-восточного Забайкалья — степи, ветреные станицы, где даже воздух будто пропитан холодом и тайной. Повествование ведётся от лица разных рассказчиков — этнографа, приказчика, казачьего сотника, местного жителя — и каждый из них поначалу пытается держаться за привычную логику, но постепенно убеждается: есть вещи, которые не укладываются ни в отчёты, ни в уставы, ни в здравый смысл.

© Литвинцев Р. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Сказка о хитром Мануле.	5
Близнецы.	8
Красные перья турпана.	10
Бальжит.	12
Бычья гора.	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Страшные сказки Даурских степей

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.*
А.С.Пушкин

Сказка о хитром Мануле.

В заповедных местах, где зимой дует безжалостный ветер, называемый хиусом, а летом палит беспощадное солнце, там, где бесконечное травянистое море сливается с небесной гладью, обитало нечто, что местные жители называли не просто зверем, а вестником иных сил. Там жил кот, да не абы какой, а самый настоящий дикий кот Манул — существо, в чьих глазах отражалась древняя, равнодушная мудрость степей, а в движениях таилась сила, чуждая человеческому пониманию. Живут такие коты в Забайкальских степях, и в их облике есть что-то от самой земли — неподвижное, тяжёлое, будто они не ходят, а перемещают саму почву под собой.

И был он большой охотник сытно поесть: что вкусного в степи найдёт или поймает на Торейских озёрах, непременно съест. Бродит Манул по степи, страсть как изголодался, и в каждом его шаге чувствуется не просто голод, а древняя потребность, которая старше любых человеческих законов. Вдруг услышал он выстрел. Увидал, как по степи стремительно несётся дзерен. «Бах, бах», — разнеслись по степи громовые звуки разящего свинцом ружья, и эти звуки, казалось, нарушили тонкий барьер между мирами, позволив чему-то древнему и равнодушному проникнуть в реальность. «Видимо, казаки охотятся», — подумал наш кот, и в ту же минуту быstroногий дзерен повалился в густую траву.

Манул притаился и стал ждать, что будет дальше, должно быть, охотник-человек придёт и заберёт свою добычу. Долго прождал Манул, но человек так и не появился. «Наверное, человек не видел, где свалился дзерен, зрение и нюх у людей не такие острые, как у зверей», — рассуждал кот, но в глубине души он знал, что дело не в слабости человеческих чувств, а в том, что степь сама решает, кому достанется добыча, и сегодня она отдала её Манулу. Ещё немного подождав, украдкой, осторожно, подошёл он к теперь уже наверняка ничьей добыче. «Раз за добычей никто не явился, то, думаю, она теперь будет моя», — справедливо решил кот и давай лакомиться свежим и вкусным мясом. Не пропадать же ему. Не часто Манулу доводится отведать такого благородного мяса.

А в это время как раз мимо волк пробежал, глядит и глазам не верит: малой дзерена ест. Решил волк тоже им полакомиться. Говорит он коту:

— Здорово живёте, Манул Иванович!

А кот ему отвечает, не поднимая глаз от трапезы:

— Этого съем, другого задеру. Оголодал я что-то совсем! А может, и ещё чьего-нибудь мяса отведать? А? — и смотрит он на волка хитро, с прищуром, да так хищно, что в этом взгляде волк увидел не просто звериную ярость, а нечто гораздо более древнее и равнодушное, будто сам дух степи смотрел на него глазами кота.

Испугался волк, как бы его свирепый котофей не съел, и дал дёру со всех ног. Бежит, а навстречу ему степной орёл, низко так над землёй летит. Увидал орёл волка, да спустился к нему на землю.

— Куда бежишь, серый? Остановись, поговорим! — окликнул он волка.

— Ох, сосед, что я видел, — говорит ему волк. — Котишка с виду чихни — да улетит, как пушинка от одуванчика. Он большого дзерена задрал. Да ещё и говорит, что мало ему.

Ещё кого-нибудь съесть желает. На меня хищно смотрел, где это видано, чтобы коты волков ели! Ты вон какой храбрый, орёл! Полетел бы да пугнул его! А дзерена мы бы с тобой съели.

— Что же, не пугнуть? Пугну, конечно! Мне всякую мелочь попугать — одно удовольствие! — согласился надменный орёл, не подозревая, что бросает вызов не просто зверю, а проводнику древней силы.

Подлетает к коту и говорит ему:

— Здорово дневали, храбрый котофей!

А кот ему отвечает, всё так же не поднимая глаз:

— Этого съем, другого задеру. — И смотрит кот Манул так хитро, с прищуром на орла, и в этом взгляде орёл увидел нечто такое, от чего кровь в жилах стала холодной, будто сама степь шепнула ему: «Не лезь».

Перепугался орёл и полетел от кота, что было мочи. Летит, летит, крылья уже устали. Вдруг слышит — кричит его кто-то. Посмотрел орёл вниз, видит: лиса ему лапой машет. Спустился орёл к ней.

— Ой, лисонька, что я тебе расскажу: котишка дзерена задрал. Ты у нас вон какая хитрая, храбрая, пугнула бы, обманула бы его! А дзерена мы с тобой разделили бы по справедливости.

— Пойдём, пугнём, — проговорила рыжая хитрица, не понимая, что вступает в игру, правила которой были установлены задолго до появления зверей в этих степях.

Отправились лиса, орёл и волк к коту. Лиса и говорит коту:

— Здравствуй!

Не успела лиса договорить, а кот как заорёт:

— Этого съем, другого задеру!

Ещё сильнее испугались звери, наутёк бросились. Бегством спасаются от озверевшего кота, а навстречу им тарбаган.

— Ох, соседushка, что мы видели: свирепый котище дзерена задрал, сидит там и ест, нас всех загрызть хочет. Утробу свою ненасытную набить — мало ему дзерена, всех зверей в округе изведёт. Помоги нам, ты наверняка посмелее нас всех будешь! Недаром легенды говорят, что предком твоим был самый искусный охотник.

— Не бойтесь, звери! В беде вас не брошу! Помогу! Пойдём, посмотрим на вашего кота, — отвечает им смелый тарбаган, не зная, что его храбрость — лишь ещё одно звено в цепи событий, которые уже были predetermined.

Отправились все вместе кота пугать. Вот тарбаган и говорит ему:

— Здорово живёте, Манул Иванович!

А кот как заорёт что есть мочи:

— Всех съем, переем, никого не пропущу!

От страха у зверей сердце в пятки ушло, убежали. Бегут, за жизни свои боятся, дрожат и думают, как бы кот их не сгубил. Самой хитрой из них вдруг в голову пришла идея. И говорит товарищам лисонька:

— Давайте кота задобрим, устроим ему ужин, да не абы какой, а самый лучший. Настоящий пир! Может, тогда он на нас зуб точить перестанет.

Орлу досталось рыбы в озере наловить, волку — бычка у пастухов украсть да зарезать, лисе — рябчиков наловить, а тарбагану — принести ягоды да вкусных кореньев. Под вечер, когда пришло время ужинать, решили звери жребий бросить, кому снова к коту идти. Стали палочки тянуть. Короткая выпала волку. Делать нечего — пошёл волк кота Манула на ужин звать.

— Не прогневайся, Манул Иванович, просим вас с нами отужинать, — заискивающе и как можно ласковее сказал волк, чувствуя, как сама степь шепчет ему: «Беги».

— Приду, что же не прийти, если так просят! — пообещал кот, и в его голосе волк услышал не просто согласие, а обещание чего-то гораздо более зловещего.

Ждут звери, волнуются, места себе не находят, а кота всё нет и нет. Полетел теперь орёл котофея звать.

— Достопочтенный Манул Иванович, просим к нам на вечеру.

— Иду, иду, — отвечает ему хитрый Манул, и в этих словах орёл услышал эхо древних пророчеств, которые никто не решался произнести вслух.

Ждут звери, а Манула Ивановича всё нет. Послали лису.

— Уважаемый Манул Иванович, просим вас, будьте милостивы, отужинайте с нами. Уважьте нас, — ласково, на распев молвила лисонька, будто пыталась заморозить не кота, а саму судьбу.

— Ладно уж, уважу, пойду, — промяукал кот Манул, и в этом согласии звери почувствовали не милость, а приговор.

Знатный пир приготовили звери. Чего там только не было: и жареного мяса, и варёного, и ягод, и морсов, и компотов, и варенья всякого — в общем, всего много было. Только волк со страху в траву зарылся да сухими ветками прикрылся, орёл в небо взмыл, лиса в нору забилась. Один тарбаган остался за Манулом ухаживать да потчевать его разной снедью.

Сидит кот и мясо за обе щеки уплетает. И тарбаган тоже с ним. А у волка слюнки текут, хвостом шевелит, а из своего укрытия не вылезит. Увидел кот под веткой что-то серое шевелится. Подумал Манул, что это мышка, да как прыгнет, хватить волка за хвост. Волк как завоет, перепугался, пустился бежать, только пятки сверкают; куда убежал — и по сей день никто не знает. Орёл тоже улетел от страха, да злобу в сердце на кота затаил. А лиса бежала прочь, бежала, пока диким собакам не попалась. Они её в клочья изодрали, лишь чудом от них спаслась.

С тех пор много времени прошло, дзерены уходили и приходили в Даурские степи, была и засуха, и дожди. Великие Торейские озёра много раз высыхали и наполнялись водою вновь, а потомки того самого кота Манула до сих пор живут в степях близ этих озёр. Только волк, лиса и орёл-сапсан и поныне враги котам Манулам. Лишь один тарбаган коту не враг.

Но в легендах, которые шепчут старики у костров, говорится, что Манул — не просто зверь, а страж порога между мирами. Его голод — это не просто потребность тела, а проявление древней силы, которая ждёт своего часа, чтобы снова проникнуть в мир людей и изменить его до основания. И когда степной ветер станет особенно холодным, а небо — особенно тёмным, Манул поднимет голову и посмотрит на звёзды, и тогда звери снова вспомнят тот пир и поймут, что они были лишь пешками в игре, которую начал не кот, а сама степь.

Близнецы.

В тех забытых богами краях, где хребты встают, словно окаменевшие чудовища, а ветры несут не просто холод, но и память о древних бедах, в стойбище эвенков случилось событие, от которого даже старейшины, привычные к знакам Нижнего мира, ощутили, как стынет кровь в жилах. Жена охотника Ти-эйка принесла двойню — двух мальчиков, столь схожих меж собой, что сама природа, казалось, утратила способность различать их. Ни родимое пятно, ни изгиб бровей, ни первый крик — ничто не давало приметы, по которой можно было бы отделить одного от другого.

Старики, те, что помнили ещё времена, когда граница между мирами была тоньше волоса, шептали о «невидимых» — о призраках, не ушедших в загробный мир, ибо не завершили своего тёмного дела. Говорили, что один из младенцев — не дитя плоти и крови, а личина, принятая существом, что жаждет проникнуть в Срединный мир, чтобы затем увлечь всё племя за собой в Нижний. По древнему закону, лишь рука матери могла оборвать эту подмену, пока она не пустила корни глубже, чем корни лиственницы в вечную мерзлоту. И до тех пор, пока знак не будет поставлен, женщине надлежало держаться вдали от чума мужа, дабы не дать злу укрепиться в сердце стойбища.

Но как отличить, какой из младенцев — её плоть, а какой — чужая тень, принявшая облик ребёнка? Роженица металась в смятении, и сердце её разрывалось от боли, ибо оба мальчика были одинаково беспомощны, одинаково трогательно припадали к её груди, словно два малых тарагайки-олёнёнка, не ведающих ни добра, ни зла. Лишить жизни одного из них она не могла: рука отказывалась подниматься против крови своей. И тогда, ведомая отчаянием и слепой надеждой, женщина решила на иной путь. В час, когда тьма накрыла горы, а даже духи, как говорят, смыкают глаза, она выбралась из лиственничного шалаша, бежала по тропе, где каждый камень казался ей укором, и на перевале, у протоптанной оленьей тропы, оставила одного из младенцев, завернутого в парку. Пусть судьба, если она ещё жива в этих землях, сохранит его от волков и хищных птиц; пусть его подберут кочевники, идущие через хребет.

И судьба, или нечто, что лишь притворяется судьбой, в тот раз не отвернулась. Кочевники, переправлявшиеся через перевал поутру, нашли мальчика. Шаман Янгото, едва завидев его, поднял руку и предостерег: «Это — чужой! От него веет холодом, который не рождён вьюгой». Но старый и ещё могучий Этыргин, вожак племени, не внял словам шамана. Он взял младенца, словно бросая вызов самой тьме, что гнездилась в горах.

Так вырос Йэгырголь — найденыш, которому со временем не было равных в охоте. Говорили, что он мог поразить ястреба-стервятника на лету, пустив стрелу прямо в печёнку, когда птица парила в заоблачной выси. Но сердце его было черствым, словно копыто старого оленя, иссушенное годами и морозами. Он не смеялся, не пел песен, не участвовал в общих играх, а глядел исподлобья, будто видел сквозь лица людей то, что им видеть не полагалось.

«Что тревожит моего приёмного сына?» — спросил однажды старик-отец у шамана Янгото.

«Он — чужой», — снова повторил шаман, и слова его прозвучали не как мнение, а как приговор, высеченный в камне. «Йэгырголь ищет своего брата-близнеца. Если он возьмёт над ним верх, то вернётся в Срединный мир — но не как гость, а как хозяин. И горе нам, коль это случится...»

Слова эти запали в душу старика, тревожили его сон, и даже в бреду он видел тени, что тянулись к его внукам. А зима выдалась такой голодной, что даже духи холода, казалось, смеялись над людьми: вьюга не стихала неделю, и в чумах закончились припасы. Йэгырголь посмотрел на приёмного отца долгим, немигающим взглядом, в котором не было ни жалости, ни гнева — лишь холодная ясность существа, что знает цену каждой жизни. «Звери, одряхлев,

уходят умирать в Тайгу, не желая быть обузой другим. Ты, старик, стал обузой своему народу», — произнёс он, будто размышляя вслух, без злобы, как о чём-то неизбежном. Старик понурил голову. А утром старого Ытыргина в чуме не оказалось. Сын словно не заметил пропажи и даже не шевельнулся, когда люди метались в поисках.

Вьюга утихла, но зверь в Тайге исчез, будто его и не было никогда. Охотники сбились с ног, возвращаясь с пустыми сумками, пока силы не оставили их вовсе. Собравшись в большом чуме пропавшего вожака, племя искало защиты у Йэгырголя, веря в его охотничью удачу, словно в древний заговор. Но и он возвращался с промысла пустым, и глаза его становились всё холоднее, будто в них отражался лёд, сковавший реки. Люди лежали молча, ожидая смерти, и только маленькая сестрёнка Йэгырголя тихонько всхлипывала, корчась от колик в животе.

Хозяин чума посмотрел на неё долгим взглядом, от которого у всех похолодело в груди, будто сама тьма заглянула в стойбище через его зрачки. Он подполз и перехватил девочке пальцами горло. Она захрипела и замолкла. «Сварите похлёбку!» — швырнул он женщинам мёртвое тельце, и голос его прозвучал не как приказ, а как нечто, пришедшее извне, из-за пределов человеческого понимания. Женщины охнули от ужаса, но страх оказался сильнее совести, и они не посмели послушаться. И вскоре голодающее племя, под угрюмым, пристальным взглядом своего нового вожака, не смея перечить, ело человечину. А потом каждую ночь, тупо, без слёз и борьбы, люди обречённо ожидали своей очереди быть съеденными, будто сама судьба вычеркнула их из числа живых.

Племя охотника Ти-эйка тем временем пережидало зиму, запасшись припасами. Сам Ти-эйк притащил из Тайги тушу лося, а сын его Теуль сумел добыть двух диких оленей. Звериные туши заложили в лабазы, и временами доставали оттуда мороженое мясо, чтобы насытиться. Время уже клонилось к весне, и люди начинали верить, что скоро можно будет порадоваться свеженине. Но внезапно Теуль занемог. По телу у него пошли красные пятна, а затем эти места нагноились, и мясо начало отслаиваться от костей, будто некая сила изнутри разъедала его, не оставляя шанса.

Старик Ти-эйк кинулся к шаману, и тот долго советовался с духами, прислушиваясь к шёпоту, что доносился из трещин в земле. Наконец он сказал отцу: «Когда-то твоя жена пожалела убить двойника сына. Теперь близнец забрал много чужих дыханий, стал силен, и изнутри ест тело твоего парня».

Старуха-мать от горя рвала на себе волосы, но сделанного не воротишь. Вскоре у Теуля оголились кости — сначала на руках, потом на ногах, и плоть сползла с него, как старая кора с мёртвой лиственницы. А как-то утром родители нашли его бездыханным, и в чуме повисла тишина, страшнее любого воя вьюги.

В тот же день к становищу приблизился незнакомец. Он попросился на постой в чум старика Ти-эйка. Старуха-мать лишь увидела его красные зрачки, горевшие алчным огнём, и сразу поняла: это он, двойник, тот, что пил дыхание её сына и губил племя. Ночью, когда тени в чуме стали длиннее и гуще, чем положено, она прокралась на мужскую половину и ножом заколола пришельца. Лишь рука матери могла погубить чужого — никому другому с ним было не совладать.

Так старуха спасла племя эвенков от вымирания, но цена этого спасения осталась в её глазах, и с той поры никто не решался спрашивать, что она видела в ту ночь, ибо есть знания, которые разрушают разум, и есть поступки, после которых человек уже не может смотреть на мир прежними глазами.

Красные перья турпана.

На берегу степного озера, где ветер гнал по воде мелкую рябь, будто торопил её куда-то, сидел старый тунгусский охотник Енхор. Рядом, прислонившись к тёплому камню, устроился его внук Алтан — глаза у мальчишки были круглые, как две луны, а в груди билось сердце, жадное до каждой сказки, до каждого слова, что не похоже на обычную речь. Камень под ним был не просто тёплым: он будто помнил солнце всех прошедших дней и отдавал эту память сейчас, в час, когда степь начинала шептать.

— Дедушка, — тихо позвал Алтан, глядя на стаю уток, что кружилась над водой, и в этом кружении ему чудилось что-то неслучайное, будто птицы чертили в воздухе знаки, понятные только небу. — Почему у турпана перья красные? Будто кто-то окунул его в закат. Или в кровь.

Енхор улыбнулся, но улыбка вышла не весёлой, а тяжёлой, как бывает, когда вспоминаешь то, о чём говорить не хочется, но надо. Он поправил меховую шапку, будто этим жестом отгонял лишние мысли, и неторопливо проговорил:

— Это не просто краска, внук. Это память. И урок. Расскажу тебе легенду, которую шептали ещё деды наших дедов, а до них — те, кто жил, когда земля была моложе и тоньше. Эту историю не рассказывают громко: слова, если их кричать, теряют вес и становятся пустыми.

Алтан подобрался ближе, будто боялся, что ветер унесёт слова, и в его движении было столько ожидания, что даже воздух между ними стал плотнее, словно берег держал дыхание.

— Жил когда-то в наших краях лама. Богатый, гордый. Носил он летом халат монгольского покроя, а зимой — шубу баранью, крытую красной китайкой, и ткань эта была такой яркой, что, говорили, слепила глаза тем, кто смотрел на него с завистью. И так привык он к своему богатству, к тому, что все склоняются перед ним, что однажды поспорил с самим Господом: мол, ничего и никого не боится на земле, а после смерти и вовсе будет жить, как прежде, — в богатой юрте, со стадами, как и положено всякому уважаемому человеку. Ведь так верили все тунгусы: на том свете мы тоже живём юртами и пасем скот, как здесь.

Алтан нахмурился, будто пытался примерить эту уверенность на себя, и не смог: она оказалась слишком тяжёлой.

— А Господь что?

— Господь не стал спорить словами, — тихо сказал Енхор, глядя на рябь у берега, и в его взгляде было столько тишины, что Алтану вдруг показалось, будто озеро слушает вместе с ним. — Он просто показал. Напустил мор на стадо ламы. В одну зиму пропали кони, в другую — овцы, потом и юрты его опустели. Богатство растаяло, как утренний туман, но даже тогда лама не смирился. Всё твердил: «Ничего, после смерти всё вернётся. Я знаю, как там устроено». В этих словах было столько упрямства, что степь будто съёжилась от них, как живое существо от прикосновения чего-то неправильного.

Мальчик вздрогнул, будто услышал что-то страшное не в словах деда, а в том, как они легли на тишину.

— И тогда Господь сказал: «Ты так уверен в своём знании? Тогда узнай, каково быть не хозяином, а гостем в этом мире». И превратил ламу в турпана. С красным оперением — в память о той самой одежде, которую он так любил и которой так гордился. Но это не просто цвет: это печать, которую нельзя смыть ни дождём, ни временем.

Алтан долго молчал, следя за птицами, и ему казалось, что среди них есть одна, которая смотрит на него чуть дольше остальных, будто знает, о чём идёт речь.

— Но почему он такой хитрый? — наконец спросил он. — Все говорят, что турпан — самый осторожный, самый изворотливый, будто он знает про каждую ловушку на свете.

Енхор кивнул, будто ждал этого вопроса, и в его кивке было не согласие, а признание того, что внук увидел самое важное.

— Потому что он помнит. Помнит, как легко потерять всё. Помнит, что гордыня — как тонкий лёд: сегодня стоишь на нём, а завтра уже в воде, и никто не услышит крика. И вот он теперь живёт у тех мест, где кочуют тунгусы, будто присматривает за нами. Или напоминает.

Мальчик покосился на деда.

— А он нас узнаёт?

Старик усмехнулся, и в этой усмешке было больше тепла, чем насмешки, но и в тепле чувствовалась тяжесть веков.

— Думаю, да. И если ты будешь слушать степь, то однажды услышишь, как он шепчет: «Не будь слишком уверенным. Мир шире, чем твоя юрта. И в нём есть вещи, которые не кланяются ни богатству, ни власти, ни даже вере, если она стала щитом для гордыни».

Они посидели ещё немного, глядя, как солнце садится за сопки, окрашивая воду в тот самый красный цвет, что и перья турпана, и в этот миг граница между закатом и легендой стёрлась: казалось, что озеро горит не от солнца, а от памяти о том, что было. Потом Енхор поднялся, потянулся, словно сбрасывая с плеч тяжесть веков, и сказал:

— Пойдём. Пора домой. А легенду эту помни: не для того, чтобы бояться, а чтобы знать — богатство и гордость проходят, как дым над костром, а уважение к земле остаётся, если его не растоптать.

Алтан кивнул и пошёл следом, но время от времени оглядывался на озеро, будто надеялся увидеть турпана, который смотрит на него умными, старыми глазами, в которых отражается не только вода, но и все закаты, какие были до него.

И где-то над водой, в последних лучах заката, мелькнуло красное крыло — будто птица кивнула в ответ, и в этом кивке было больше смысла, чем в любых словах. А может, это был просто свет, упавший под нужным углом. Но в степи, где легенды живут дольше людей, никто не спешит называть такие вещи случайностью.

Бальжит.

То было время, когда величественные империи прошлого канули в лету, не сохранив даже своих названий для потомков — и не потому, что люди забыли их, а потому, что сама память о них стала опасной, будто произнесение древнего имени могло пробудить нечто, что лучше не тревожить. Некогда великие народы, погрязнув в алчности, пороках и братоубийственных распрях, забыли честь и славу предков, и удел их стал не просто рабством, а растворением в чужой воле, превращением в безликую массу, чья единственная ценность — способность нести груз, копать землю или падать под плетью, не издав ни стога. Они стали пищей для завоевателей, пришедших с пустынных земель юга, — не в буквальном смысле, хотя и это случалось, но в куда более страшном: их души, их традиции, их имена пожирались без остатка, будто сама земля здесь требовала такого жертвоприношения, чтобы оставаться плодородной.

Завоеватели несли с собой не только мечи и копья, но и иной порядок — порядок, в котором человеческая жизнь была лишь разменной монетой, а страх — главным цементом империи. Их жрецы проводили кровавые ритуалы, взывая к бесчисленным божествам, чьи имена звучали как скрежет камня по стеклу, и каждый ритуал был не просто поклонением, а попыткой удержать равновесие в мире, который уже начинал трещать по швам, отзываясь на эту жестокость. Шли годы, сменялись десятилетия, превращались в века, и время здесь текло не как река, а как песок в часах, где каждая песчинка — это чья-то жизнь, чьё-то горе, чья-то забытая молитва.

Потомки завоевателей, продолжая оставаться жестокими, как и предки, на покорённых землях, протянувшихся от островной империи Ямато до королевства Мадьяр, создали невиданную во всей истории человечества кочевую империю — не просто государство, а живой организм, питающийся страданиями тысяч народов. И эти народы, на разных наречиях называя своих поработителей монголами, служили им, создавая богатства и роскошь, возводя красивые дворцы для ханов, не зная, что каждый камень, положенный их руками, становился частью механизма, который однажды поглотит и их самих.

Но роскошь, алчность и неумеренность в желаниях ведут к печальным последствиям — не из-за морали, а из-за самой природы вещей: миры, построенные на насилии, рано или поздно начинают отражать эту суть, и земля, пропитанная кровью, начинает шептать на своём языке, который люди боятся услышать. Такая судьба постигла и кочевую империю. Наш рассказ — о том времени, когда шёпот земли стал громче криков рабов.

Колонна рабов шла по мощеной грубым камнем дороге, и летнее солнце в даурских степях нещадно палило, выжигая не только кожу, но и последние искры надежды в их глазах. Уже месяц они шли по дорогам из земель бывшего государства Пархэ, покорённого монголами, и каждый шаг отдавался в груди не усталостью, а ощущением, что они удаляются не просто от дома, а от самого понятия «дом», от всего, что делало их людьми.

Вскоре на горизонте замаячили очертания дворца. Подобно миражу, он сверкал золотом, но это было не сияние красоты, а холодный, режущий свет, будто металл впитал в себя не солнце, а саму идею власти, безжалостной и равнодушной. Дворец доминировал над городом, расположенным в пади между высокими горами, которые служили естественной преградой для множества врагов — впрочем, всех их орда уже покорила, и теперь эти горы стали не защитой, а клеткой, удерживающей страх внутри. Вход во дворец открывала высокая арка, столбы которой были сложены из человеческих черепов, выбеленных солнцем и ветром до неестественной белизны, и в этой белизне не было чистоты — только пустота, которая поглощала любой свет, попадавший на неё.

Дворец возводился не одно десятилетие силой покорённых народов, и каждый его камень был пропитан чужой болью, будто строители неосознанно вкладывали в кладку не раствор, а

свои последние молитвы, которые так и не были услышаны. Чтобы не распылять свои силы, монгольские ханы вынуждены были создавать центры силы, откуда их тирания распространялась на обширные земли, словно ядовитый сок, проникающий в корни деревьев. Кочевой образ жизни постепенно сменялся роскошью дворцов, но эта роскошь не была признаком силы — она была симптомом разложения, попыткой удержать ускользающую власть с помощью золота и мрамора.

Как только колонна рабов вошла в город, их взору предстала вся мерзость завоевателей. На широких улицах, образованных редкими каменными зданиями, сновали люди, а среди каменных построек в хаотичном порядке были разбросаны юрты, будто цивилизация пыталась спрятаться за своими же остатками. Эта картина тянулась на не один километр, и в ней не было ни порядка, ни гармонии — только нагромождение форм, отражающее внутренний хаос империи.

Когда рабы вышли на широкую улицу, по обеим её сторонам стали толпиться зеваки. Дети подбирали голыми руками конский и бычий навоз, которого было в изобилии под ногами, и обкидывали им медленно плетущихся, подгоняемых плетью несчастных узников. Каждое попадание в лицо раба сопровождалось радостным улюлюканьем толпы и гортанным смехом надсмотрщиков, в котором слышался не просто смех, а что-то более древнее — будто сами духи степи смеялись над человеческой слабостью.

— Биднийг цохих хэрэггүй, эсвэл бид таныг идэж хийх болно. Ха-ха! — весело кричали они, и слова эти звучали не как угроза, а как заклинание, призывающее тьму, которая уже витала в воздухе, ожидая своего часа.

Пленные молча сносили все издевательства, и в их молчании была не покорность, а понимание: зная жестокий нрав монголов, о побеге никто не помышлял, а смерть казалась лучшей участью, чем стать манкуртом или лошадьё. Среди здешнего народа существовала практика использования рабов за какие-либо провинности в качестве лошадей, и эта практика была не просто жестокостью, а ритуалом, стирающим человеческую сущность. Рабу с помощью варварской операции жрецы продевали золотую ось в голову через мягкие ткани в области соединения челюстей с черепом. Операция была длительной и болезненной, часть кости дробилась, и в результате рот несчастного был постоянно открыт, потреблять пищу без сторонней помощи он уже не мог. На концах ось фиксировалась набалдашниками в форме бараньего рога, к которым крепились поводья. Немногие переживали такую изощрённую пытку, а те, кто выживал, долго не жили — их разум ломался раньше тела, и они становились пустыми оболочками, послушными любой воле.

Во дворце, в тронном зале, как безумный, от стены к стене метался хан — потомок самого Сотрясателя вселенной. Его движения были не просто проявлением гнева, а судорогами человека, который чувствовал, как сама реальность вокруг него становится зыбкой, как будто стены дворца были не из камня, а из тумана, готового рассеяться в любой момент. У жестокого хана, восседавшего в Кондуйском дворце, была красавица жена — единственная, кто мог сдерживать его ретивый нрав и гордыню. Она всё же родила ему сына, наследника, и всё бы хорошо, но при родах она умерла, и её смерть стала не просто личной трагедией, а трещиной в фундаменте его власти, через которую начала просачиваться тьма.

Горевав об утрате любимой жены много лет, хан всё же женился вновь на молодой и очень красивой женщине по имени Хэтэр. В народе роптали, что новая ханша является шулмой, то есть ведьмой, и в этих роптаниях слышался не просто страх, а знание, которое люди боялись произносить вслух. Та пора совпала со временем, когда обильные источники воды близ дворца стали исчезать, а некогда плодородная почва превращаться в степную пыль, разносимую северным ветром — Хойд Салхи. Ветер этот не просто нёс пыль — он нёс с собой ощущение конца, будто сама природа отворачивалась от этого места.

Нравы знати, попавшей под влияние традиций народов южных частей обширной империи, ломали привычные устои кочевников. Разврат, излишества и жестокость, и прочие грехи порождали болезни, как духа, так и тела, и болезни эти были не просто физическими недугами — они были признаками того, что границы между мирами истончились, и нечто чуждое начало проникать в реальность. Болезни и смерть стали привычными спутниками кочевников, и для людей сведущих, посвящённых в мистерии древних, всё это было признаком активности нечистой силы.

— Чукчуры, степные черти, пируют, — так говорили люди, и в этих словах звучала не просто народная молва, а древнее знание, передаваемое шёпотом от отца к сыну, чтобы не разбудить то, что слушает даже тишину.

Тем временем сын хана — принц Тайжи — вырос, повзрослел и стал красивым, статным юношей, в чертах которого ещё угадывались черты матери, будто она пыталась через него сохранить свою память в этом мире. Но в его глазах уже появлялось то самое знание, которое приходит к тем, кто чувствует, что мир не так прост, как кажется, и что за видимой реальностью скрывается нечто большее, равнодушное и древнее.

Ханше пасынок приглянулся как мужчина, и она то и дело старалась соблазнить его, возлечь с ним на ложе, видя в нём не просто юношу, а сосуд, способный вместить ту силу, которую она жаждала. Старый хан её не устраивал — его сила была грубой, земной, а ей нужна была сила, способная разорвать границы миров.

Пришло время принцу жениться и продолжать славный род Чингисидов, и выбор принца пал на красавицу Бальжит. Она была не просто красивой — в ней была та самая тишина, которая могла успокоить даже степь, и в её присутствии казалось, что тьма отступает на шаг, будто не решается подойти ближе.

Мачеха принца прониклась ревностью к молодой невестке, и ревность эта была не просто человеческим чувством, а чем-то большим, будто в неё вселилось нечто, питающееся чужими страданиями. Как змея щитомордник, вилась она вокруг хана и принца, стараясь настроить обоих против Бальжит, но добилась лишь ссоры отца с сыном. Принц Тайжи, не желая мириться с тем, что его жену притесняют, разругался с отцом, и в этом разрыве звучал не просто гнев, а крик души, которая чувствовала, что тьма подбирается всё ближе.

Хан в гневе отослал сына и невестку в ссылку, управлять в отдалённый улус, и этот поступок был не просто наказанием, а попыткой избавиться от того, что нарушало его равновесие, от той самой тишины, которая напоминала ему о потерянной жене и о том, что он сам становится частью тьмы.

Прошло несколько месяцев, и в народе пошли слухи, что это ханша уговорила хана сослать принца с женой. Хэтэр пожаловалась о том хану и попросила позвать принца обратно, но делала она это не из доброты, а чтобы отвести от себя подозрения и укрепить свою власть.

— В народе недовольство. Говорят, что я виновата в том, что твой сын уехал. Зачем мне такая слава, зачем народу думать, что всё по моей указке? Ведь это неправда, Великий хан? На всё твоя воля. Верни сына, — говорила она, и голос её звучал так сладко, что казался ядом, медленно проникающим в сознание хана.

Три года хан слал приглашение сыну о возвращении, но тщетно. Обида принца на отца была крепка, и он посылал неизменно дерзкие ответы, в которых слышалась не просто гордость, а понимание, что возвращение будет означать не примирение, а капитуляцию перед тьмой, которая уже захватила дворец.

Ханша внушала мужу, что это Бальжит ссорит его с сыном, что она ведьма и хочет извести его род, а сама вместе с чукчурами править на его землях. Слова эти падали на благодатную почву, подпитывая гнев хана и его страх перед тем, что он теряет контроль не только над сыном, но и над самой реальностью. Чаша терпения хана переполнилась, и он послал против сына войска, чтобы силой вернуть его, а невестку привести на суд, показать, что воля его и сила

непоколебима — но на самом деле он хотел заглушить тот шёпот, который уже слышался в стенах дворца, шёпот, обещавший, что ничто не останется прежним.

Узнав о надвигающейся беде, принц отослал любимую к её родственникам, надеясь, что вдали от дворца она будет в безопасности, не зная, что его мачеха послала и второй отряд воинов с приказом убить Бальжит. В этом приказе слышался не просто человеческий гнев, а воля той силы, которая питалась чужими страданиями и жаждала новой крови.

Сев на своего верного, резвого, рыжего коня по имени Хурин Залан, Бальжит поскакала к родне, и в тот момент, когда она покинула лагерь, казалось, что даже степь вздохнула с облегчением, будто на краткий миг тьма отступила. Принц сдался войскам отца, он надеялся образумить его при личной встрече, не понимая, что слова здесь бессильны, а тьма уже поглотила разум хана.

Как бы ни был резв конь Бальжит, но посланные за её жизнью воины имели коней не хуже, и погоня была не просто преследованием, а ритуалом, в котором каждый шаг приближал неизбежное. Всадники, посланные ханшей, догнали Бальжит на реке Туре, что является притоком Ингоды, и место это было не просто точкой на карте, а границей, где законы мира становились зыбкими, и тьма могла свободно проникать в реальность.

Перед тем как исполнить приказ своей повелительницы Хэтэр, они надругались над красавицей Бальжит, и в этом надругательстве слышался не просто животный инстинкт, а холодное, расчётливое желание стереть её человечность, превратить её в жертву, чья боль станет топливом для древней силы. Затем они отрезали ей груди и бросили её в озеро, находившееся неподалёку, которое теперь называется Бальзинским. Вода в нём с тех пор стала холодной, будто впитала в себя не просто тело, а саму душу Бальжит, и даже в самый жаркий день над ним висел лёгкий туман, похожий на её последний вздох.

Её верного коня убийцы взяли как трофей, но не подчинился Хурин Залан им, остался верен своей хозяйке. Долго силой гнали они его, жестоко били, и в итоге убили. Издох конь в одной из падей, и место, где погиб верный конь принцессы Бальжит, теперь называется Курунзулай. Говорят, что по ночам там слышен тихий цокот копыт, будто Хурин Залан всё ещё ищет свою хозяйку, не в силах поверить, что её больше нет.

Много воды утекло с тех пор, империи гибли и появлялись новые, народы сменяли друг друга на земле, но история о красавице Бальжит жива, и память о ней, пусть и искажённо, остаётся в топонимах Забайкалья. И если прислушаться к ветру, который гуляет по этим степям, можно услышать отголоски её голоса, шепчущего о том, что тьма никогда не исчезает полностью — она лишь ждёт своего часа, чтобы снова выйти на свет.

Бычья гора.

Ветер гулял по сопкам, теребил полы старых халатов и шептал что-то на языке, который понимали только камни — и, быть может, те, кто слишком долго жил рядом с горами. На склоне, у подножия горы Буха, сидели двое: старый шаман Дархан, с лицом, изрезанным морщинами, словно тропами, проложенными через долгие годы, и молодой воин Тумэн, которому всё ещё хотелось верить, что любую беду можно победить силой, не понимая, что есть беды, перед которыми сила — лишь шум в пустой чаше.

— Дедушка, — тихо сказал Тумэн, глядя на двойную вершину, будто на два склона, прижавшихся друг к другу, — почему эту гору зовут Бычьей? Говорят, она дышит.

Дархан усмехнулся, но в усмешке не было насмешки — только тяжесть веков, накопленная, как пыль на старых камнях.

— Потому что она и есть бык. Вернее, два быка. И они не просто лежат здесь. Они помнят. А память их тяжелее любой скалы.

Тумэн нахмурился.

— Расскажи. Я хочу знать правду, а не сказки для детей.

Старик помолчал, будто прислушиваясь к тому, что шепчет сама гора, и в этом молчании чувствовалось, что он не просто вспоминает, а сверяется с чем-то, что живёт под землёй и отзывается только тем, кто умеет слушать. Потом заговорил — негромко, ровно, как рассказывают то, что нельзя исказить, ибо искажение может пробудить то, что лучше держать спящим:

— Было это в те времена, когда степи дышали иначе, а небо было ближе к земле, чем сейчас, и граница между мирами была тоньше волоса. С юга, из-за дальних хребтов, пришли два рода. Долго кочевали, пока не вышли к долине реки Горохона — нынче её зовут Борзянка. Места были богатые: травы высокие, вода чистая, сопки укрывают от ветра. И захотели оба рода остаться здесь. Но земля не терпит ссоры. А спор у них вышел горячий, и в нём уже слышался звон будущих копий.

— И что же сделали вожди? — спросил Тумэн.

— Они не стали лить кровь своих людей. Не стали резать коней и жечь юрты. Вместо этого позвали шаманов. Тех, кто умел ходить между мирами и знал слова, от которых воздух становился гуще, а тени — длиннее. Шаманы были оборотнями: в нужный час они могли принять облик зверя, взять его силу и ярость. И вот, чтобы не губить род на род, они решили: пусть сила решит за них. Пусть два быка столкнутся лбами, и тот, чей шаман победит, получит эти земли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.